

Айлин



Чужая ЖИЗНЬ



История о том, как я
вернула себя
и начала жить

Иногда, чтобы найти дом,
нужно вернуться к себе.



Айлин

Чужая жизнь

«Автор»

2026

Айлин

Чужая жизнь / Айлин — «Автор», 2026

Ольге сорок лет. Хорошая работа, ровная жизнь, репутация спокойной женщины, которая просто не любит шумных компаний. Никто не догадывается, чего ей стоит обычный день: планёрка, где все звуки наваливаются разом, корпоратив, после которого нужны сутки, чтобы прийти в себя, сорок лет, прожитых по инструкции, написанной будто не для неё. Всё меняется с одной случайной фразы. Ольга приходит к психологу — и сессия за сессией начинает узнавать себя заново: своё детство, свою мать, своего молчаливого отца, свои странные привычки, которые всю жизнь казались виной. Постепенно выясняется: дело было не в том, что она неправильная. Просто её никто — включая её саму — не понимал. «Чужая жизнь» — роман о позднем диагнозе и о том, что за ним открывается. О маскировке, которая прирастает к коже. О женщинах, которые десятилетиями считают себя сломанными. И о самом трудном и светлом открытии, которое может случиться с человеком: что можно наконец перестать воевать с собой.

© Айлин, 2026

© Автор, 2026

Содержание

СЕССИЯ ПЕРВАЯ	5
СЕССИЯ ВТОРАЯ	8
СЕССИЯ ТРЕТЬЯ	10
СЕССИЯ ЧЕТВЁРТАЯ	13
СЕССИЯ ПЯТАЯ. ОТЕЦ	16
МЕЖДУ СЕССИЯМИ. КОРОБКА	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Айлин

Чужая жизнь

СЕССИЯ ПЕРВАЯ

Я пришла сюда, чтобы меня починили.

Так и сказала бы, если бы умела говорить то, что думаю, — но я не умею, я всю жизнь этого не умею, поэтому вместо этого я сижу на краю дивана, слишком глубокого и слишком мягкого, и держу сумку на коленях, как держат ребёнка или щит. Диван хочет, чтобы я откинулась назад. Я не откинусь. Если я откинусь, придётся заново собирать спину, а у меня сегодня нет на это сил.

Кабинет пахнет чем-то травяным. Не духами — чем-то из диффузора на подоконнике, тонкие палочки в тёмном флаконе. Запах входит в меня и не выходит, оседает где-то за глазами. Я не буду про него говорить. Люди не говорят про запахи. Я усвоила это годам к тридцати: когда я в гостях морщусь от освежителя воздуха, который никто, кроме меня, будто и не чувствует, на меня смотрят так, словно я устраиваю сцену. Поэтому теперь я молчу и просто терплю, пока за глазами копится давление.

— Расскажите, что вас привело, — говорит она.

Её зовут Марина Сергеевна. Я записала имя в телефон три раза, чтобы не забыть, и всё равно, пока шла от метро, боялась, что забыла. Ей, наверное, за пятьдесят. Она сидит в кресле напротив, не близко, и это первое, что мне здесь понравилось, — расстояние. Она не наклоняется ко мне. Руки держит спокойно. Не улыбается той специальной тёплой улыбкой, от которой мне всегда хочется извиниться и уйти.

Что меня привело.

Меня привело то, что три недели назад я не смогла выйти из машины.

Я приехала на работу, встала на парковке, заглушила двигатель — и не смогла. Просто сидела и смотрела на стеклянные двери бизнес-центра, за которыми лифт, и турникет, и Женья с ресепшена, которая скажет «доброе утро, как настроение», и я должна буду ответить, и на восьмом этаже открытый опенспейс, где сорок человек, и свет, этот свет, белый, ровный, гудящий, — и я поняла, что не могу. Не «не хочу». Не могу. Как будто между мной и дверью машины выросла стена из чего-то плотного, невидимого, и чтобы пройти сквозь неё, нужно тело, которого у меня в тот момент не было.

Я просидела так сорок минут. Потом написала, что заболела. Потом поехала домой и легла, и лежала, и следующий день лежала, и с тех пор, кажется, не вставала по-настоящему.

Ничего этого я вслух не говорю. Я говорю:

— У меня, наверное, депрессия.

— Наверное, — повторяет она мягко, без нажима. — А почему «наверное»?

— Потому что я не знаю. Я не плачу. Разве при депрессии не плачут?

— По-разному бывает.

Я киваю. Мне нравится, что она не спорит и не спешит меня утешить. Утешение — это когда человек торопится закрыть неприятное, замазать, чтобы самому не сидеть рядом с твоим неприятным. Я всю жизнь чувствую, когда меня утешают, чтобы отделаться. У неё этого нет. Она просто ждёт.

— Мне сорок лет, — говорю я, и голос мой звучит странно, будто чужой, будто я слушаю запись. — У меня хорошая работа. Была. Есть. Не знаю. Я редактор, ведущий редактор, я пятнадцать лет в одном издательстве, я хорошо делаю свою работу. Очень хорошо. Я вижу в тексте то, чего не видит никто, я нахожу ошибку на триста восьмидесятой странице, которая проти-

воречит абзацу со страницы двенадцать, и никто, кроме меня, этого не помнит, а я помню, я всё помню. — Я замолкаю. — И вот я не могу выйти из машины.

Она молчит секунду. Потом:

— Вы сказали «была, есть, не знаю». Что происходит с работой?

Умная. Она поймала то, что я хотела спрятать.

— Мне предложили руководить отделом. Полгода назад. Повышение. — Я смотрю на свои руки. Ногти обкусаны, я знаю, я прячу их, но сейчас поздно прятать. — Все сказали, что я заслужила. И я согласилась, потому что как не согласиться, отказаться нельзя, это же вверх, все хотят вверх. А это значит совещания. Каждый день. Люди. Я должна буду говорить с людьми весь день, каждый день, направлять их, спрашивать, как у них дела, ходить на обеды, где обсуждают отпуска. — Я слышу, как мой голос поднимается, и заставляю его опуститься. — И с того дня, как я согласилась, я перестала спать. А потом перестала выходить из машины.

— То есть срыв начался, когда появилось больше общения с людьми.

— Да, — говорю я. И тут же: — Нет. Не знаю. Это же не причина. Люди общаются. Все общаются. Это нормально. Это не может быть причиной, иначе я просто... — Я не договариваю.

— Иначе вы просто — что?

— Слабая, — говорю я тихо. — Иначе я просто слабая и не приспособленная к жизни, и всё, что я про себя всегда думала, — правда.

Она не бросается меня разубеждать. За это я готова её полюбить.

— А что вы про себя всегда думали? — спрашивает она.

И я вдруг понимаю, что впервые за очень долгое время мне задали вопрос, на который у меня слишком много ответов.

Что я всегда думала про себя.

Что я неправильная. Не сломанная — сломанное было целым и стало нет, а я как будто с самого начала собрана по другому чертежу, и все остальные получили инструкцию, а мне её не выдали. Что в детстве меня звали то буквой, то принцессой на горошине, то «блаженной» — это бабушка, — потому что я не могла надеть колготки со швом, который давил на пальцы, и кричала, а мать говорила: перестань позорить меня в магазине. Что я научилась не кричать. Что я вообще многому научилась: смотреть людям примерно в область переносицы, потому что в глаза невозможно, глаза — это слишком, но все требуют глаз; кивать в нужных местах; смеяться на полсекунды позже других, подхватывая; говорить «а как ты?», потому что люди любят этот вопрос, я вычислила, они расцветают от него, хотя мне физически трудно потом слушать ответ, я теряю нить на третьей фразе и киваю в пустоту.

Что каждый рабочий день я как будто играю роль человека по имени я, и к вечеру от меня ничего не остаётся, я прихожу домой и сижу в темноте, потому что свет — это ещё один голос, а голосов за день было слишком много, и мне нужна тишина такой густоты, чтобы в ней можно было раствориться.

Что я думала — так у всех. Что все так живут, просто не жалуются, а я жалуюсь, значит, я хуже.

Ничего этого я пока не говорю. Я говорю только:

— Что я устала. Что я очень, очень устала, и я не понимаю, от чего, потому что у меня хорошая жизнь и уставать не от чего.

Марина Сергеевна смотрит на меня. И говорит фразу, которая — я это пойму много позже, через месяцы, — станет первым камнем, который она вынет из стены, чтобы стена начала осыпаться:

— А что, если вы устали не от жизни, а от того, что всё это время делали её чужим для себя способом?

Я не понимаю, что она имеет в виду.

Я ещё очень долго не буду понимать.

Но что-то во мне — то самое, что помнит ошибку на триста восьмидесятой странице, что всегда чувствует, когда одна деталь не сходится с другой, — что-то во мне замирает и прислушивается. Потому что впервые кто-то предположил, что дело не в том, что я плохо справляюсь с жизнью.

А в том, что мне дали чужую.

СЕССИЯ ВТОРАЯ

Между первой сессией и второй проходит неделя, и за эту неделю я успеваю решить, что больше не пойду.

Это происходит на четвёртый день, вечером. Я лежу на кровати одетая, поверх покрывала, потому что раздеться — это последовательность действий, а последовательности мне сейчас не даются. И вдруг вспоминаю, как сказала ей: «слабая». Вслух. Чужому человеку. Отдала ей это слово, и теперь оно у неё, и она может с ним что угодно.

Я лежу и чувствую то самое, что чувствовала в четырнадцать, когда прочитала свой дневник вслух перед классом — не сама, конечно, Ленка Морозова нашла и прочитала, — то самое горячее, стыдное, выворачивающее наизнанку. Меня видели. Кто-то видел меня.

К пятнице я почти набираю сообщение об отмене. Не отправляю. Не потому что передумала, а потому что формулировка не получается: «извините, мне не подходит» — грубо; «я решила прервать терапию» — пафосно; «здравствуйте, к сожалению» — а что к сожалению? Я переписываю четырнадцать раз, устаю и откладываю телефон.

В четверг я прихожу.

Она не спрашивает, как прошла неделя. Она говорит:

— Вы сегодня сели дальше.

Я смотрю на диван. Действительно. В прошлый раз я села с краю, ближе к двери, а сегодня — в угол, к стене. Я даже не заметила.

— Так лучше, — говорю я. И, помолчав: — За спиной стена. Не надо следить за спиной.

Я жду, что она спросит — от кого следить, что за спиной, вы чувствуете угрозу? Психологи ведь так делают, я видела в кино. Она не спрашивает. Она кивает, как будто я сказала что-то совершенно обыкновенное — «сегодня дождь», — и записывает одно слово в блокнот.

— Я чуть не отменила, — говорю я вдруг.

— Что вас удержало?

— Я не смогла придумать вежливую формулировку.

И тут она делает то, чего не делал никто и никогда. Она смеётся. Коротко, тепло, без насмешки, — и говорит:

— То есть вы пришли на терапию, потому что не нашлось правильных слов, чтобы на неё не прийти.

— Да, — говорю я.

— Это очень многое о вас говорит.

— Что я трусиха?

— Что вы относитесь к словам с невероятной ответственностью. Большинство людей отправило бы «извините, не смогу» и забыло через минуту.

Я молчу. Внутри что-то делает маленькое, осторожное движение — как будто зверь поднял голову.

— Я редактор, — говорю я наконец. — Слова — это моё.

— Расскажите про них. Про слова.

И я рассказываю. Сначала неохотно, потом всё быстрее, потому что это единственная тема, на которой мой язык не спотыкается. Как в шесть лет я прочитала слово «вензель» и месяц искала, куда его вставить. Как в двенадцать выписывала в тетрадь все встреченные слова с двойным «н» — не для школы, для себя, никто не просил. Как в институте могла восемь часов подряд, без еды, разбирать разночтения в двух изданиях одного текста, и это было счастьем — настоящим, физическим, как тёплая вода. Как я до сих пор знаю наизусть номера страниц в книгах, которые редактировала пять лет назад.

Я говорю минут двадцать. Потом обрываю себя на середине фразы.

— Простите.

— За что?

— Я говорю слишком долго. О себе. Это невежливо.

Она откладывает блокнот. Впервые за две встречи откладывает.

— Скажите, — говорит она, — а кто вам объяснил, что это невежливо?

Я открываю рот. Закрываю.

Ответ приходит сразу, целиком, без поиска, — вот он, как открытка, много лет пролежавшая между страниц.

Мне девять. У нас гости, мамины коллеги, я сижу за столом и рассказываю про Марс. Я тогда очень любила Марс, я знала всё: температуру, состав атмосферы, почему небо там розовое на закате. Я говорю про Марс, и мне хорошо, и я даже не думаю, как я выгляжу, потому что я говорю про Марс.

А потом я замечаю лицо матери.

Она смотрит на меня через стол особым взглядом, который я знаю наизусть, — не сердитым, хуже. Это взгляд, которым смотрят на пятно на скатерти, когда гости уже сели. Потом она улыбается и говорит: «Ну всё, всё, дай людям поесть».

Кто-то смеётся. Не зло. Просто.

Я сажусь. Ем. Смотрю в тарелку. И где-то внутри, в том месте, где живёт всё нужное для жизни, у меня очень тихо и очень окончательно закрывается дверца.

Больше я никогда никому не буду рассказывать про Марс.

— Мать, — говорю я в кабинете тридцать один год спустя. — Мать объяснила.

Марина Сергеевна молчит долго. Так долго, что я успеваю испугаться, что сказала что-то ужасное, предала мать, и надо немедленно объяснить, что мама была хорошая, она правда была хорошая, она просто хотела, чтобы я не выглядела душой, она за меня стыдилась, она из любви.

— Она за меня стыдилась, — говорю я. — Из любви.

— А вы сейчас за неё оправдываетесь, — говорит Марина Сергеевна. — Из чего?

Я не отвечаю.

За окном пасмурно, и оттого свет в кабинете мягкий, серый, необидный. Диффузор на подоконнике я сегодня заметила сразу, как вошла, и весь час его чую, но сегодня он почему-то не так мешает. Наверное, потому что я знаю, что он там. Когда знаешь, откуда, — легче.

Я думаю об этом секунду, и мысль эта кажется мне неважной. Проходной. Я даже не запоминаю её.

Пройдёт четыре месяца, прежде чем я пойму, что в ней было всё.

— Я вам не сказала одну вещь, — говорю я вместо этого. — В прошлый раз. Про то, что меня привело.

— Скажите сейчас.

— Три недели назад я не смогла выйти из машины. — Голос ровный. Хорошо. — А неделю назад я не смогла ответить на звонок от подруги. Просто смотрела, как телефон звонит, и не могла. А позавчера я не смогла заказать еду, потому что для этого нужно было говорить с курьером в домофон. — Я поднимаю глаза, и мне это почти удаётся — я смотрю ей в переносицу. — Оно сжимается. Круг того, что я могу. Он был большой, а теперь я в нём почти не помещаюсь.

— Как давно он сжимается?

Я хочу сказать: три недели.

Я говорю:

— Всю жизнь.

И удивляюсь этому больше, чем она.

СЕССИЯ ТРЕТЬЯ

В понедельник мне звонит начальница и говорит, что ждёт меня в среду на планёрке. Не спрашивает. Говорит. Голос у неё бодрый, участливый: «Мы все за тебя переживаем, но ты же понимаешь, отдел без руководителя».

Я говорю: конечно.

В среду я еду на работу.

Я справляюсь с парковкой. Справляюсь с турникетом. Женя на ресепшене говорит «о, наконец-то!», и я улыбаюсь ей ровно так, как научилась улыбаться: уголки вверх, глаза чуть сузить, задержать полторы секунды. Я поднимаюсь на восьмой этаж, и двери лифта открываются, и на меня обрушивается опенспейс.

Это надо описать точно, иначе будет неправда.

Не «шумно». Шум — это когда громко. Здесь не громко. Здесь сорок разговоров одновременно, и я слышу каждый. Не фоном — каждый, отдельно, целиком, как будто все сорок сидят у меня в голове и говорят по очереди, только не по очереди, а сразу. Я слышу, как Тамара из корректуры рассказывает про свекровь. Слышу, как в углу кто-то жуёт. Слышу гудение кулера, и гудение ламп, и как за стеной работает лифт. Мозг должен что-то из этого убрать. У всех людей мозг это убирает — я знаю, я читала. У меня не убирает. Мне подаются всё, всегда, с одинаковой громкостью, и я должна разбирать это вручную, каждую секунду, каждую секунду восьмичасового дня.

Плюс свет. Он не просто яркий — он мерцает. Никто не видит, но лампы мерцают, я вижу, я всегда видела, это как жить внутри очень медленной, очень тихой молнии.

Плюс запахи. Чей-то кофе. Чьи-то духи, тяжёлые, сладкие, они у меня в горле.

Плюс — и это самое трудное — лица. Сорок лиц, каждое из которых надо прочесть. Что означает, как она на меня посмотрела. Что означает, почему он не поздоровался. Означает ли что-нибудь, что они замолчали, когда я подошла. Другие люди, я в этом почти уверена, получают это знание готовым, откуда-то, бесплатно. Я вычисляю. Каждое лицо — задача, и задач сорок, и решать их надо параллельно, и одновременно говорить, и следить за своим лицом, чтобы оно тоже что-нибудь означало.

Планёрка идёт сорок минут.

На тридцать шестой минуте кто-то спрашивает моё мнение, и я слышу свой голос — он говорит что-то разумное, он всегда говорит что-то разумное, — а я в это время смотрю на свои руки под столом и вижу, что они дрожат.

Я досаживаю. Я даже иду потом со всеми на обед, потому что отказаться — это объясняться, а объясняться дороже.

Домой я приезжаю в семь.

В восемь я сижу на полу в ванной, в темноте, с закрытой дверью, спиной к стене, и раскачиваюсь. Вперёд-назад, вперёд-назад. Я не плачу. Я просто раскачиваюсь, потому что от этого чуть легче, и одновременно мне сорок лет, и я взрослая женщина с двумя высшими, и я сижу на кафеле в темноте и качаюсь, как ребёнок в детском доме, и второй частью себя я это вижу и точно знаю, что нормальные люди так не делают.

Я не рассказываю об этом никому.

В четверг я рассказываю Марине Сергеевне.

Не про ванную. Про планёрку. Я говорю сухо, коротко, я умею быть сухой и краткой: была на работе, было тяжело, было много людей.

Она слушает. Потом спрашивает:

— Что значит «тяжело»? Опишите физически.

И это самый странный вопрос, который мне задавали.

— Физически?

— Что происходило с телом.

Я молчу. Никто никогда не спрашивал, что происходит с телом. Спрашивали: почему ты такая нервная. Почему ты не можешь просто расслабиться. Что ты опять выдумываешь.

И я начинаю говорить. Про сорок голосов. Про лампы, которые мерцают. Про то, что духи Ирины Павловны стоят у меня в горле весь день и я потом не могу есть. Про то, что моя кофта — я останавливаюсь.

— Что с кофтой?

— Ничего. Глупость.

— Скажите глупость.

— У неё был ярлык, — говорю я. — Сзади, на шее. Я срезала все ярлыки, со всех вещей, ещё когда покупала, но у этой остался хвостик, миллиметр, и он трогал шею. Весь день. Не больно. Просто трогал. — Я слышу, как это звучит. — И к концу планёрки я не могла думать ни о чём другом. Только о нём. Я сидела и думала о миллиметре ткани, пока обсуждали план на квартал.

Я жду.

Я жду взгляда матери через стол. Жду «ну ты, конечно, даёшь». Жду вежливого лица, за которым человек решает, что я истеричка.

Марина Сергеевна ставит блокнот на колено и говорит:

— Расскажите мне про колготки.

У меня останавливается сердце.

— Что?

— В прошлый раз вы упомянули, вскользь, что в детстве не могли надеть колготки со швом. Вы сказали это между делом, как деталь. — Она смотрит на меня спокойно. — Я хочу, чтобы вы рассказали мне это подробно.

И я вдруг понимаю, что она их не забыла.

Она носила эти колготки в себе целую неделю, между сессиями, как я ношу ошибку на триста восьмидесятой странице. Она заметила деталь и не отпустила её.

Что-то внутри меня — очень старое, очень запертое — делает движение к двери.

— Мне было пять, — говорю я. — Или шесть. Шов проходил вот здесь, — я показываю поперёк пальцев, — по подушечкам. И мама говорила: он не давит, это же просто нитка. И я знала, что она права, что это просто нитка. И я всё равно не могла. Я снимала их и оставалась босиком на морозе, и меня шлёпали, и я снова снимала. — Пауза. — Меня водили к неврологу. Он сказал: капризы. Сказал — избалована.

— Сколько ещё было таких «капризов»?

— Что?

— Кроме колготок. Что ещё вы не могли.

Я открываю рот, чтобы сказать: больше ничего.

И вместо этого из меня начинает идти список.

Бирки. Швы. Шерсть — любая шерсть, кожа под ней горит. Мокрые рукава. Резинки на носках. Ярлыки. Ветер в лицо. Стрижка — до сих пор, до сорока лет, парикмахерская для меня пытка, стук ножниц у уха, волоски за воротником. Мелкие волоски. Пылесос. Крик. Аплодисменты — от аплодисментов у меня темнеет в глазах, я на всех школьных линейках стояла и не хлопала, и меня за это наказывали. Дни рождения. Хлопушки. Запах хлорки. Запах рыбы. Прикосновение чужого к запястью. Обнимание, любое, всегда — даже с теми, кого я люблю, я обнимаюсь на счёт, я про себя считаю до трёх и отпускаю, и никто, никто за сорок лет не заметил, что я считаю.

Я останавливаюсь.

В кабинете очень тихо.

— Я никогда не говорила это вслух, — говорю я. — Целиком. Подряд.

— Почему?

— Потому что по одному — это капризы. — Мой голос делается совсем тихим. — А подряд — это что-то другое, да?

Марина Сергеевна не отвечает.

Она смотрит на меня, и в её лице нет ни жалости, ни любопытства, ни того особого блеска, с которым люди узнают чужой позор. В её лице есть что-то, чего я не умею прочесть, — я вообще плохо читаю лица, я же говорила, — и мне требуется несколько секунд, чтобы подобрать слово.

Слово оказывается: узнавание.

Она смотрит на меня так, словно узнаёт.

— В следующий раз, — говорит она наконец, — я хочу поговорить о вашей матери.

Я киваю.

Я иду к метро сквозь мокрый мартовский вечер, и мне кажется, что улица стала тише, хотя это неправда, улица не могла стать тише.

Просто впервые за сорок лет мне не стыдно за миллиметр ткани.

СЕССИЯ ЧЕТВЁРТАЯ

Мать умерла шесть лет назад, и я не плакала на похоронах.

Это первое, что я говорю, когда сажусь. Даже не поздоровавшись как следует. Я всю неделю носила в себе эту фразу, обкатывала её, как камень в кармане, — и вот выкладываю на стол, чтобы она лежала между нами и чтобы Марина Сергеевна сразу поняла, с кем имеет дело.

— Все плакали, — говорю я. — Тётя Валя рыдала. Соседка рыдала, а она с мамой ругалась двадцать лет. А я стояла и думала, что у меня чешется воротник и что поминки — это ещё три часа, и я считала, сколько ещё людей подойдёт и обнимет меня, и надо будет каждого обнять в ответ, и я считала до трёх, до трёх, до трёх, весь день.

Я поднимаю глаза.

— Вот такая я дочь.

Марина Сергеевна не вздрагивает. Она наливает воду из графина в стакан и ставит передо мной — не говоря ничего, просто ставит, — и от этого мне почему-то становится трудно дышать.

— Расскажите мне о ней, — говорит она.

— Что рассказать?

— Какой она была.

Какой она была.

Она была прямая, как линейка. Она вставала в шесть двадцать. Не в шесть и не в пол-седьмого — в шесть двадцать, тридцать лет подряд. Она мыла посуду в определённом порядке: стаканы, тарелки, столовые приборы, кастрюли, и если я мыла не в том порядке, она перемывала. Молча. Она не выносила, когда трогали её вещи на столе, — не сердилась, но приходила и переставляла обратно, миллиметр в миллиметр.

Она сорок лет проработала в одном НИИ, в отделе технической документации, где никто с ней особо не разговаривал, и это её, кажется, полностью устраивало. Дома у неё была картотека. Настоящая, деревянная, из библиотеки. Она вела картотеку домашних расходов — с 1974 года, каждый день, каждая копейка, почерком таким ровным, что его можно было бы печатать.

Она не любила гостей. Она их принимала — надо же принимать, — и после каждого гостя ложилась с мигренью на сутки, с задёрнутыми шторами, и мы с отцом ходили по квартире на цыпочках.

Она не обнимала меня. Никогда, ни разу, сколько я себя помню. Когда мне было плохо, она клала руку мне на макушку, коротко, будто отмечала: здесь. И убирала.

Она никогда не говорила «я тебя люблю».

Но она сшила мне на выпускной платье, потому что я не переносила ни одну ткань в магазине, и она объехала пять магазинов и нашла шёлк, и шила его три недели по ночам, и в нём не было ни одного шва внутри. Ни одного. Она вывернула все швы наружу и обработала их бархоткой.

Я замолкаю посреди фразы.

Марина Сергеевна ждёт.

— Я никогда об этом не думала, — говорю я медленно. — Про швы.

— О чём вы думали?

— Что она меня стыдилась. — Я слышу, как мой голос делается тонким, детским, ненавижу этот голос. — Она стыдилась меня за столом, при гостях. Она говорила: «не позорь меня». Она смотрела на меня как на пятно. Она за всю жизнь ни разу не сказала, что я хорошая.

— И при этом она вывернула швы наружу.

— Это другое.

— Почему?

— Потому что это\... — Я останавливаюсь. — Потому что это практично. Она была практичная. Проще сшить платье, чем спорить с ребёнком в магазине.

Марина Сергеевна чуть наклоняет голову.

— Три недели по ночам — это практично?

Я молчу.

Что-то происходит с воздухом в комнате. Он становится плотнее.

— Скажите, — говорит она, и голос у неё очень осторожный, я слышу эту осторожность, она выбирает дорогу, — а когда вы рассказывали про Марс за столом\... где сидела ваша мать?

— Напротив.

— Что она делала весь вечер? До того, как вас остановила.

Я закрываю глаза.

Я не помню. Это было тридцать один год назад. Я не могу помнить, что делала мать, я помню только её лицо в тот момент, когда\...

Но я помню. Я, оказывается, помню всё.

Она сидела очень прямо. Она не ела. Она держала в руках вилку и водила большим пальцем по её ручке, туда-сюда, туда-сюда, весь вечер. Её коллеги смеялись, и говорили одновременно, и кто-то включил музыку, и мать сидела прямо, и водила пальцем по вилке, и лицо у неё было такое, будто она считает секунды.

Будто она считает до трёх.

— Она\... — говорю я, и голос ломается. — Она сидела и терпела.

Тишина.

— Она сказала мне «дай людям поесть» не потому, что ей было стыдно за меня, — говорю я. — Она сказала, потому что не могла больше. Потому что за столом было двенадцать человек, и музыка, и она сидела там три часа, и я была ещё одним голосом. Ещё одним.

Я поднимаю голову. Марина Сергеевна смотрит на меня своим неназываемым взглядом.

И тут я всё понимаю.

Не про мать. Про то, куда мы шли последние четыре встречи. Про то, зачем она спросила про колготки. Зачем сказала «расскажите физически». Зачем весь этот список — шерсть, бирки, аплодисменты. Я вижу это целиком, сразу, как вижу противоречие между страницей триста восемьдесят и страницей двенадцать.

Я вижу, что она собирает.

— Нет, — говорю я.

— Что «нет»?

— Я знаю, что вы делаете. — Я слышу свой голос откуда-то издалека, он холодный и очень чёткий, это мой рабочий голос, голос совещаний. — Вы ведёте меня к аутизму.

Марина Сергеевна не отводит глаз.

— А вы?

— Что — я?

— Вы к нему шли?

Я встаю. Я не собиралась вставать, тело встаёт само, сумка падает с колен, и я стою посреди чужого кабинета, и меня трясёт.

— Мне сорок лет, — говорю я. — Я закончила университет с красным дипломом. Я пятнадцать лет руковожу редактурой в издательстве. Я вожу машину. Я плачу ипотеку. Я говорю на трёх языках. Аутисты — это дети, которые бьются головой о стену и не разговаривают. Вы это понимаете? Не разговаривают.

— Я это понимаю.

— Тогда зачем вы\...

— Ольга. — Она впервые называет меня по имени. — Сядьте, пожалуйста.

Я не сажусь.

— Моя мать не была аутисткой, — говорю я. — Она была холодная. Она была тяжёлая, закрытая, невыносимая женщина, которая ни разу в жизни меня не обняла, и я тридцать лет пыталась понять, за что, и я не позволю\... — Голос срывается. — Я не позволю сейчас сделать так, чтобы она была ни в чём не виновата.

Вот оно.

Я слышу, что сказала, — и Марина Сергеевна слышит, и мы обе стоим в этой фразе, как в воде.

Я сажусь. Медленно. Поднимаю сумку.

— Простите, — говорю я. — Я, кажется, накричала на вас.

— Вы не накричали. Вы впервые за четыре встречи сказали то, что чувствуете, сразу, без обработки. — Она чуть подаётся вперёд. — Как это было?

Я думаю.

— Страшно, — говорю я. — И легко.

Мы сидим молча. Минуту, наверное. За окном темнеет, и в кабинете снова этот серый мягкий свет, который меня не режет.

— Я ничего не собираюсь вам доказывать, — говорит она наконец. — И у меня нет полномочий ставить вам диагноз, это делает другой специалист, и решать, идти ли к нему, будете только вы. — Пауза. — Но я хочу оставить вас с одним вопросом. Не отвечайте сейчас.

Я киваю.

— Если бы оказалось, — говорит Марина Сергеевна очень медленно, — что ваша мать всю жизнь чувствовала то же, что чувствуете вы. Что она не обнимала вас, потому что прикосновение причиняло ей боль, а не потому, что не любила. Что она умерла, так и не узнав, почему ей так трудно жить.

Она делает паузу.

— Что бы вы потеряли, если бы это было правдой?

Я иду домой пешком. Сорок минут по мокрому мартовскому городу, мимо витрин, мимо людей, мимо всего.

Дома я достаю коробку с документами матери — я так и не разобрала её за шесть лет — и сажусь на пол.

Сверху лежит картотека. Карточки с расходами, каждая копейка, с 1974 года. Почерк ровный, как печатный.

Я сижу на полу до трёх ночи и перебираю карточки, одну за одной, и не понимаю, почему у меня мокрое лицо.

СЕССИЯ ПЯТАЯ. ОТЕЦ

Я отменяю сессию.

Пишу за два часа: «Марина Сергеевна, извините, не смогу, много работы». Это ложь, и я знаю, что она знает, и она отвечает через минуту: «Хорошо, Ольга. Жду вас в следующий четверг». Ни вопроса. Ни «что случилось». Просто — жду.

И вот это «жду» бесит меня больше всего.

Я хожу с этим бешенством неделю. Оно во мне ровное, как гул трансформаторной будки. Я вычитываю чужую рукопись, ставлю запятые, нахожу три фактические ошибки на восьмой странице и одну на сто двенадцатой, и всё это время внутри у меня стоит гул.

Она сказала слово.

Она не сказала — я сказала, я сама произнесла его вслух в её кабинете: «Вы ведёте меня к аутизму». Она не подтвердила и не опровергла, она сделала эту свою паузу, и в паузе было всё.

Аутизм — это мальчик, который раскачивается и не говорит. Аутизм — это диагноз, который ставят в три года, а не в сорок. Аутизм — это то, про что снимают кино и пишут в интернете люди, которым нечем заняться, и каждая вторая женщина в сети теперь «нашла у себя», потому что ей неуютно на корпоративах.

Я — ведущий редактор. У меня высшее образование, две ставки, муж, водительские права, я делаю доклады на планёрках, я умею вести переговоры с типографией.

Я не аутист.

Я просто плохой человек.

Вот в чём разница, вот в чём вся разница, и я, кажется, только сейчас понимаю: мне было легче сорок лет считать себя плохим человеком, чем один раз допустить, что я устроена иначе. Потому что плохой человек может исправиться. А устроенный иначе — не может. Плохой человек виноват, а виноватому есть куда идти. У виноватого есть надежда.

Я прихожу в следующий четверг и сажусь, и говорю без вступления:

— Я хочу вам сказать, что я об этом думаю.

— Скажите.

— Я думаю, что это модно, — говорю я. Голос ровный, редакторский, тот, которым я объясняю автору, почему его метафора не работает. — Я думаю, что за последние пять лет это стало удобной корзиной, куда сваливают всё: интровертов, тревожных, женщин в выгорании, подростков, которым не хочется в школу. Я думаю, что вы, психологи, получили новый инструмент и пользуетесь им, потому что им приятно пользоваться: он всё объясняет и никого не обвиняет. Я думаю, что вы посмотрели на сорокалетнюю тётку, которая не смогла выйти из машины, и вам захотелось интересного случая.

Пауза.

— Я думаю, что вы ошиблись, — говорю я. — И мне не нравится, что вы не спорите.

Марина Сергеевна сидит очень спокойно. Она не наклоняется ко мне. Она не улыбается той тёплой улыбкой.

— Ольга, — говорит она. — Вы сейчас злитесь на меня?

— Я не злюсь.

— Вы полторы минуты говорите мне, что я непрофессиональна.

Я открываю рот. Закрываю.

— Я не злюсь, — повторяю я. — Я не умею злиться.

— А что вы умеете?

— Я умею замечать, что у меня внутри гудит.

Она чуть подаётся вперёд. Впервые за пять встреч.

— Где гудит?

Я замираю.

Потому что я не знаю. Я никогда не знаю где. У меня внутри есть только «гудит» и «не гудит», и на этом словарь заканчивается, и вот сейчас, при постороннем человеке, мне велят найти место, и я ищу, и не нахожу, и от этого гул усиливается.

— Не знаю, — говорю я, и голос вдруг срывается, некрасиво, по-детски. — Не знаю я, где. Везде. В зубах.

Тишина.

— В зубах, — повторяет она.

И записывает.

И вот тут я взрываюсь. Впервые за сорок лет, в чужом кабинете, при чужом человеке.

— Не записывайте! — говорю я громко. — Вот не надо этого. Не надо превращать меня в наблюдение. Я не наблюдение, я пришла, чтобы меня починили, а вы вместо этого собираете из меня редкую птицу, и через полгода расскажете про меня на конференции, и все закивают: надо же, женщина, сорок лет, компенсированная, представляете. — Я задыхаюсь. — Вы знаете, что я делала эту неделю? Я читала. Я нашла шестнадцать статей и прочла их все, включая одну на английском, и в каждой написано, что таких, как я, «упускают». Упускают. Как будто я вещь. Как будто меня где-то забыли, и никто не виноват, и предъявить некому.

Я замолкаю.

У меня трясутся руки. Я смотрю на них с изумлением, как на чужие.

— Ольга, — говорит Марина Сергеевна очень тихо. — Вы сейчас кричали.

— Я знаю.

— Что вы чувствуете?

Я прислушиваюсь к себе.

— Мне хорошо, — говорю я с ужасом. — Мне почему-то хорошо.

Она кладёт блокнот на стол. Закрывает его. Отодвигает.

— Я не буду записывать, — говорит она. — Хотите — заберите.

Я мотаю головой.

Мы сидим. За окном апрель, капает с карниза, и звук капли — ровный, предсказуемый, по три капли и пауза, — почему-то успокаивает меня быстрее, чем всё, что она могла бы сказать.

— Предъявить некому, — повторяет она наконец мои слова. — Ольга, а кому вы хотели бы предъявить?

— Матери, — говорю я мгновенно.

И тут же слышу, как это прозвучало. Мгновенно. Без паузы. Без единой секунды на подумать — я, которая думает над каждым словом по четыре секунды, я, которая молчит в компаниях, потому что не успевает сформулировать.

Значит, ответ лежал сверху. Значит, он лежал сверху все шесть лет.

— Матери, — говорю я медленнее. — Потому что если это врождённое, то это от неё. И если это от неё, то она знала. Не могла не знать. Она смотрела, как я в четыре года выла от бирки на платье, и она вырезала бирку, — Марина Сергеевна, она вырезала, я вспомнила на прошлой неделе, она молча брала ножницы и вырезала, — и ничего мне не говорила. Она знала, что мне больно, и она молчала.

— А почему она молчала?

— Потому что она меня не любила.

— Или?

Я молчу.

— Или потому что ей тоже было больно, и она думала, что это норма, — говорит Марина Сергеевна. — И вырезать бирку — это всё, что она умела сделать. Молча. Не объясняя. Потому что объяснения у неё не было.

Я смотрю в пол.

Пол в её кабинете — ёлочка, старый паркет, и я знаю его наизусть, я за пять встреч выучила рисунок, и в четвёртом ряду от дивана есть одна плашка, положенная неправильно, поперёк, и я не могу на неё смотреть, и я смотрю на неё каждый раз.

— Мы говорим только про мать, — говорю я вдруг.

— Да, — соглашается она.

— Пять встреч. Мать, мать, мать. А у меня был отец.

— Расскажите про отца.

Отца звали Виктор Иванович, и он чинил приёмники.

Не по работе. По работе он был инженером на комбинате, и о работе я не знаю ничего — ни что он там делал, ни любил ли, ни как называлась должность. Он никогда о ней не говорил. Он приходил в шесть, ужинал, а потом уходил на кухню, стелил газету и садился чинить.

Приёмники, магнитофоны, утюги. Ему носили со всего подъезда. Он никогда не брал денег и никогда не отказывал, и я не помню, чтобы он с кем-нибудь из этих людей разговаривал дольше минуты: они приносили, он кивал, они уходили.

Я садилась под стол.

Не рядом. Под. На пол, спиной к ножке, коленями к груди, в узкое тёплое место между стеной и его табуретом. Оттуда мне были видны только его ботинки и провод от паяльника.

Пахло канифолью.

Я до сих пор не могу пройти мимо радиорынка. Мне сорок лет, я поворачиваю голову и стою, как собака, и нюхаю воздух, и мне четыре.

Он не говорил со мной.

Вот это я хочу объяснить, и я объясняю Марине Сергеевне, и у меня выходит плохо, потому что слов на это нет.

Он не говорил со мной. Он не спрашивал, как дела в школе. Он не гладил меня по голове. Он не смотрел мне в глаза — ни разу, я не помню его взгляда, я помню его руки, кисти, вены, обгрызенный ноготь на большом пальце.

Он просто позволял мне сидеть.

Иногда, не глядя, он опускал руку вниз и клал мне на колени отвёртку. Просто клал. И я держала её обеими руками, и это значило: ты нужна, ты держишь отвёртку, сиди.

Три часа. Каждый вечер. Одиннадцать лет подряд.

— И я думала, что он меня не любит, — говорю я. — Всю жизнь. Что мать хотя бы кричала, а он даже не кричал. Мне девчонки во дворе рассказывали, как отцы их на плечах носят, а мой сидел спиной, и я под столом, и мы молчали.

Я поднимаю голову.

— Марина Сергеевна, — говорю я, и у меня очень странно с горлом. — Это были самые счастливые часы в моей жизни.

Она молчит.

— Он единственный никогда, ни разу, — я слышу, что говорю по слогам, — не заставил меня посмотреть ему в глаза. Не обнял без предупреждения. Не спросил, о чём я думаю. Не сказал «улыбнись». Не привёл в дом гостей. Он сидел, я сидела, между нами был запах канифоли, и я была счастлива, и я не знала, что это называется счастьем, потому что счастье — это когда шарики и хлопушки.

Я закрываю лицо руками.

Это первый раз, когда я плачу при ней. Некрасиво, беззвучно, зажимая рот, как научилась в двенадцать.

Она не даёт мне салфетку. Она не касается меня. Она сидит на расстоянии и молчит, и это единственно правильное, что можно сделать, и она это знает, и я не понимаю, откуда.

— Он умер, — говорю я, когда снова могу. — Мне было девятнадцать. Инфаркт, на работе, в столовой. Я приехала, а мать сидела на кухне, прямая, и уже вымыла всю посуду. Я подумала: чудовище. Я тогда так и подумала, стоя в дверях: чудовище.

— А сейчас?

— А сейчас я думаю, — медленно говорю я, — что она мыла посуду, потому что иначе бы её разорвало.

Пауза.

— Мы с ней делали одно и то же, — говорю я. — Я в тот вечер ушла и вычитала сто страниц. До утра. Мне было девятнадцать, у меня умер отец, и я до утра ставила запятые. И я двадцать лет считала, что я урод.

— Ольга, — говорит Марина Сергеевна. — Вы сейчас сказали «мы с ней делали одно и то же».

Я замираю.

— Да, — говорю я.

— Это первый раз, когда вы поставили себя и мать в одно предложение как равных.

Я сижу.

Что-то очень медленно поворачивается во мне — как барка на реке, тяжело, с натугой.

— А отец? — спрашивает она.

— Что отец?

— Вы сказали: если это врождённое, то это от неё. — Она смотрит на меня. — Почему от неё?

Я открываю рот.

И вижу под столом узкое тёплое место между стеной и табуретом. И человека, который двадцать лет каждый вечер уходил на кухню от жены и дочери, стелил газету и три часа молча паял, потому что это было единственное место в мире, где ему было не громко.

Который не смотрел в глаза.

Который не мог поддержать разговор дольше минуты.

Который никогда никого не обнимал.

Который держал в доме сто восемьдесят радиодеталей, разложенных по спичечным коробкам, подписанным одинаковым печатным почерком.

Который был счастлив только тогда, когда чинил.

— Господи, — говорю я.

— Что?

— Он тоже.

Я смотрю на Марину Сергеевну, и у меня, наверное, безумное лицо.

— Они оба, — говорю я. — Они оба, Марина Сергеевна. Они нашли друг друга. Два человека, которые не умели говорить, и они прожили вместе двадцать четыре года и ни разу не поссорились, ни разу, я не помню ни одной ссоры, — потому что они молчали, и обоим было хорошо, и обоим было тихо. Они и меня родили, наверное, молча.

Я смеюсь. Это ужасный звук, я слышу его со стороны.

— А потом родилась я, — говорю я, — и стала выть от бирок. И они не знали, что со мной делать. Не потому, что не понимали. Потому что понимали слишком хорошо, и у них не было слова, и они решили, что просто такая семья, просто такая жизнь, надо терпеть и мыть посуду.

Я замолкаю.

— Их некому было спросить, — говорю я. — Тысяча девятьсот семьдесят шестой год. Кого им было спросить?

Марина Сергеевна долго молчит.

— Ольга, — говорит она. — Вы понимаете, что вы сейчас сделали?

— Нет.

— Вы пришли сюда, чтобы предъявить матери. — Пауза. — А вместо этого впервые в жизни описали свою семью изнутри. Не как приговор. Как факт.

Я иду домой пешком.

Мне не хочется в метро, мне вообще ничего не хочется, у меня внутри пусто и звонко, как в комнате, из которой вынесли мебель.

По дороге я захожу в хозяйственный.

Я не знаю зачем. Я стою в отделе с инструментами, и там висят паяльники, обычные, ЭПСН, сорок ватт, точно такие, и я беру один и держу в руке.

Продавщица говорит: вам помочь?

— Нет, — говорю я. — Спасибо.

Я кладу его обратно.

Я выхожу на улицу, и там апрель, и капает с карниза, по три капли и пауза, и я иду, и вдруг понимаю, что плачу, — прямо на улице, у всех на виду, чего я не делала никогда в жизни.

Я плачу не о матери.

Я плачу о человеке, который двадцать лет сидел спиной к своей семье и был счастлив только под лампой, с паяльником, и умер в заводской столовой, так и не узнав про себя ни одного слова.

И о девочке, которая сидела у него под столом и держала обеими руками отвёртку.

Дома я открываю кладовку.

Коробка стоит там, где стояла шесть лет, — за пылесосом, придавленная стопкой старых журналов, обычная картонная коробка из-под чего-то.

Я сажусь на пол в кладовке, прямо в пальто, и притягиваю её к себе.

И вдруг понимаю, что всё это время думала, будто разбираю мать.

А там ведь и он.

МЕЖДУ СЕССИЯМИ. КОРОБКА

Коробка стоит в кладовке шесть лет.

Я не открывала её не потому, что мне тяжело. Мне не тяжело — вот в чём дело, вот в чём я всегда себя и подозревала. Я не открывала, потому что не понимала, зачем. Там документы. Документы нужны, когда что-то оформляют, а всё, что нужно было оформить, оформили в первый год: квартиру продали, деньги разделили с двоюродной сестрой, бумаги подписали в нотариальной конторе за двадцать минут.

Я помню только, что там очень громко тикали часы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.